

**А. П. Чехов**

**Рассказы. Повести.  
1894-1897**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
А11

А11 **А. П. Чехов**  
Рассказы. Повести. 1894-1897 / А. П. Чехов – М.: Книга по Требованию, 2012. –  
320 с.

**ISBN 978-5-4241-1667-4**

В девятый том входят рассказы и повести Чехова 1892–1894 годов.

Три года

Супруга

Белолобый

Ариадна

Убийство

Анна на шее

Дом с мезонином (Рассказ художника)

Моя жизнь (Рассказ провинциала)

Мужики

В родном углу

Печенег

На подводе

Неоконченное:

Шульц

Мужики (гл. X и XI)

**ISBN 978-5-4241-1667-4**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2012

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ  
Рассказы. Повести.  
1894-1897



# Три года

## I

Было еще темно, но кое-где в домах уже засветились огни и в конце улицы из-за казармы стала подниматься бледная луна. Лаптев сидел у ворот на лавочке и ждал, когда кончится всенощная в церкви Петра и Павла. Он рассчитывал, что Юлия Сергеевна, возвращаясь от всенощной, будет проходить мимо, и тогда он заговорит с ней и, быть может, проведет с ней весь вечер.

Он сидел уже часа полтора, и воображение его в это время рисовало московскую квартиру, московских друзей, лакея Петра, письменный стол; он с недоумением посматривал на темные, неподвижные деревья, и ему казалось странным, что он живет теперь не на даче в Сокольниках, а в провинциальном городе, в доме, мимо которого каждое утро и вечер прогоняют большое стадо и при этом поднимают страшные облака пыли и играют на рожке. Он вспоминал длинные московские разговоры, в которых сам принимал участие еще так недавно, — разговоры о том, что без любви жить можно, что страстная любовь есть психоз, что, наконец, нет никакой любви, а есть только физическое влечение полов — и всё в таком роде; он вспоминал и думал с грустью, что если бы теперь его спросили, что такое любовь, то он не нашелся бы, что ответить.

Всенощная отошла, показался народ. Лаптев с напряжением всматривался в темные фигуры. Уже провезли архиерея в карете, уже перестали звонить, и на колокольне один за другим погасли красные и зеленые огни — это была иллюминация по случаю храмового праздника, — а народ всё шел, не торопясь, разговаривая, останавливаясь под окнами. Но вот, наконец, Лаптев услышал знакомый голос, сердце его сильно забилося, и оттого, что Юлия Сергеевна была не одна, а с какими-то двумя дамами, им овладело отчаяние.

«Это ужасно, ужасно! — шептал он, ревнуя ее. — Это ужасно!»

На углу, при повороте в переулок, она остановилась, чтобы проститься с дамами, и в это время взглянула на Лаптева.

— А я к вам, — сказал он. — Иду потолковать с вашим батюшкой. Он дома?

— Вероятно, — ответила она. — В клуб ему еще рано.

Переулок был весь в садах, и у заборов росли липы, бросавшие теперь при луне широкую тень, так что заборы и ворота на одной стороне совершенно утопали в потемках; слышался оттуда шепот женских голосов, сдержанный смех, и кто-то тихо-тихо играл на балалайке. Пахло липой и сеном. Шепот невидимок и этот запах раздражали Лаптева. Ему вдруг страстно захотелось обнять свою спутницу, осыпать поцелуями ее лицо, руки, плечи, зарыдать, упасть к ее ногам, рассказать, как он долго ждал ее. От нее шел легкий, едва уловимый запах ладана, и это напомнило ему время, когда он тоже веровал в бога и ходил ко всенощной и когда мечтал много о чистой, поэтической любви. И оттого, что эта девушка не любила его, ему теперь казалось, что возможность того счастья, о котором он мечтал тогда, для него утеряна навсегда.

Она с участием заговорила о здоровье его сестры Нины Федоровны. Месяца два назад у его сестры вырезали рак, и теперь все ждали возврата болезни.

— Я была у нее сегодня утром, — сказала Юлия Сергеевна, — и мне показалось,

что за эту неделю она не то чтобы похудела, а поблекла.

– Да, да, – согласился Лаптев. – Рецидива нет, но с каждым днем, я замечаю, она становится всё слабее и слабее и тает на моих глазах. Не пойму, что с ней.

– Господи, а ведь какая она была здоровая, полная, краснощекая! – проговорила Юлия Сергеевна после минутного молчания. – Её здесь все так и звали московкой. Как хохотала! Она на праздниках наряжалась простою бабой, и это очень шло к ней.

Доктор Сергей Борисыч был дома; полный, красный, в длинном ниже колен сюртуке и, как казалось, коротконогий, он ходил у себя в кабинете из угла в угол, засунув руки в карманы, и напевал вполголоса: «Ру-ру-ру-ру». Седые бакены у него были растрепаны, голова не причесана, как будто он только что встал с постели. И кабинет его с подушками на диванах, с кипами старых бумаг по углам и с большим грязным пуделем под столом производил такое же растрепанное, шершавое впечатление, как он сам.

– Тебя желает видеть м-сье Лаптев, – сказала ему дочь, входя в кабинет.

– Ру-ру-ру-ру, – запел он громче и, повернув в гостиную, подал руку Лаптеву и спросил: – Что скажете хорошенького?

Было темно в гостиной. Лаптев, не сядя и держа шляпу в руках, стал извиняться за беспокойство; он спросил, что делать, чтобы сестра спала по ночам, и отчего она так страшно худеет, и его смущала мысль, что, кажется, эти самые вопросы он уже задавал доктору сегодня во время его утреннего визита.

– Скажите, – спросил он, – не пригласить ли нам из Москвы какого-нибудь специалиста по внутренним болезням? Как вы думаете?

Доктор вздохнул, пожал плечами и сделал обеими руками неопределенный жест.

Было очевидно, что он обиделся. Это был чрезвычайно обидчивый, мнительный доктор, которому всегда казалось, что ему не верят, что его не признают и недостаточно уважают, что публика эксплуатирует его, а товарищи относятся к нему с недоброжелательством. Он всё смеялся над собой, говорил, что такие дураки, как он, созданы только для того, чтобы публика ездил на них верхом.

Юлия Сергеевна зажгла лампу. Она утомилась в церкви, и это было заметно по ее бледному, томному лицу, по вялой походке. Ей хотелось отдохнуть. Она села на диван, положила руки на колени и задумалась. Лаптев знал, что он некрасив, и теперь ему казалось, что он даже ощущает на теле эту свою некрасоту. Он был невысок ростом, худ, с румянцем на щеках, и волосы у него уже сильно поредели, так что зябла голова. В выражении его вовсе не было той изящной простоты, которая даже грубые, некрасивые лица делает симпатичными; в обществе женщин был неловок, излишне разговорчив, манерен. И теперь он почти презирал себя за это. Чтобы Юлия Сергеевна не скучала в его обществе, нужно было говорить. Но о чем? Опять о болезни сестры?

И он стал говорить о медицине то, что о ней обыкновенно говорят, похвалил гигиену и сказал, что ему давно хочется устроить в Москве ночлежный дом и что у него даже уже есть смета. По его плану рабочий, приходя вечером в ночлежный дом, за пять-шесть копеек должен получать порцию горячих щей с хлебом, теплую, сухую постель с одеялом и место для просушки платья и обуви.

Юлия Сергеевна обыкновенно молчала в его присутствии, и он странным образом, быть может чутьем влюбленного, угадывал ее мысли и намерения. И

теперь он сообразил, что если она после всенощной не пошла к себе переодеться и пить чай, то, значит, пойдет сегодня вечером еще куда-нибудь в гости.

– Но я не тороплюсь с ночлежным домом, – продолжал он уже с раздражением и досадой, обращаясь к доктору, который глядел на него как-то тускло и с недоумением, очевидно не понимая, зачем это ему понадобилось поднимать разговор о медицине и гигиене. – И, должно быть, не скоро еще я воспользуюсь нашею сметой. Я боюсь, что наш ночлежный дом попадет в руки наших московских святош и барынь-филантропок, которые губят всякое начинание.

Юлия Сергеевна поднялась и протянула Лаптеву руку.

– Виновата, – сказала она, – мне пора. Поклонитесь вашей сестре, пожалуйста.

– Ру-ру-ру-ру, – запел доктор. – Ру-ру-ру-ру.

Юлия Сергеевна вышла, и Лаптев немного погодя простился с доктором и пошел домой. Когда человек неудовлетворен и чувствует себя несчастным, то какою пошлостью веет на него от этих лип, теней, облаков, от всех этих красот природы, самодовольных и равнодушных! Луна стояла уже высоко, и под нею быстро бежали облака. «Но какая наивная, провинциальная луна, какие тощие, жалкие облака!» – думал Лаптев. Ему было стыдно, что он только что говорил о медицине и о ночлежном доме, он ужасался, что и завтра у него не хватит характера, и он опять будет пытаться увидеть ее и говорить с ней и еще раз убедится, что он для нее чужой. Послезавтра – опять то же самое. Для чего? И когда и чем всё это кончится?

Дома он пошел к сестре. Нина Федоровна была еще крепка на вид и производила впечатление хорошо сложенной, сильной женщины, но резкая бледность делала ее похожей на мертвую, особенно когда она, как теперь, лежала на спине, с закрытыми глазами; возле нее сидела ее старшая дочь, Саша, десяти лет, и читала ей что-то из своей хрестоматии.

– Алеша пришел, – проговорила больная тихо, про себя.

Между Сашей и дядей давно уже установилось молчаливое соглашение: они сменяли друг друга. Теперь Саша закрыла свою хрестоматию и, не сказав ни слова, тихо вышла из комнаты; Лаптев взял с комода исторический роман и, отыскав страницу, какую нужно, сел и стал читать вслух.

Нина Федоровна была московская уроженка. Детство и юность ее и двух братьев прошли на Пятницкой улице, в родной купеческой семье. Детство было длинное, скучное; отец обходился сурово и даже раза три наказывал ее розгами, а мать чем-то долго болела и умерла; прислуга была грязная, грубая, лицемерная; часто приходили в дом попы и монахи, тоже грубые и лицемерные; они пили и закусывали и грубо лстыли ее отцу, которого не любили. Мальчишкам посчастливилось поступить в гимназию, а Нина так и осталась неученой, всю жизнь писала каракулями и читала одни только исторические романы. Лет 17 назад, когда ей было 22 года, она на даче в Химках познакомилась с теперешним своим мужем Панауровым, помещиком, влюбилась и вышла за него замуж против воли отца, тайно. Панауров, красивый, немножко наглый, закуривающий из лампадки и похвастывающийся, казался ее отцу совершенным ничтожеством, и, когда потом зять в своих письмах стал требовать приданого, старик написал дочери, что посылает ей в деревню шубы, серебро и разные вещи, оставшиеся после матери, и 30 тысяч деньгами, но без родительского благословения; потом прислал еще 20 тысяч. Деньги эти и приданое были прожиты, имение продано, и Панауров пе-

реселился с семьей в город и поступил на службу в губернское правление. В городе он завел себе другую семью, и это вызывало каждый день много разговоров, так как незаконная семья его жила открыто.

Нина Федоровна обожала своего мужа. И теперь, слушая исторический роман, она думала о том, как она много пережила, сколько выстрадала за всё время, и что если бы кто-нибудь описал ее жизнь, то вышло бы очень жалостно. Так как опухоль у нее была в груди, то она была уверена, что и болеет она от любви, от семейной жизни, и что в постель ее уложили ревностью и слезы.

Но вот Алексей Федорыч закрыл книгу и сказал:

– Конец и богу слава. Завтра другой начнем.

Нина Федоровна засмеялась. Она всегда была смешлива, но теперь Лаптев стал замечать, что у нее от болезни минутами как будто ослабевал рассудок, и она смеялась от малейшего пустяка и даже без причины.

– Без тебя тут до обеда приходила Юлия, – сказала она. – Как я поглядела, она не очень-то верит своему папаше. Пусть, говорит, вас лечит мой папа, но вы все-таки потихоньку напишите святому старцу, чтобы он за вас помолился. Тут у них завелся старец какой-то. Юличка у меня зонтик свой забыла, ты ей пошли завтра, – продолжала она, помолчав немного. – Нет, уж когда конец, то не помогут ни доктора, ни старцы.

– Нина, отчего ты по ночам не спишь? – спросил Лаптев, чтобы переменить разговор.

– Да так. Не сплю, вот и всё. Лежу себе и думаю.

– О чем же ты думаешь, милая?

– О детях, о тебе... о своей жизни. Я ведь, Алеша, много пережила. Как начнешь вспоминать, как начнешь... Господи боже мой! – Она засмеялась. – Шутка ли пять раз рожала, троих похоронила... Бывало, собираешься родить, а мой Григорий Николаич в это время у другой сидит, послать за акушеркой или за бабкой некого, пойдешь в сени или в кухню за прислугой, а там жиды, лавочки, ростовщики – ждут, когда он домой вернется. Голова, бывало, кружится... Он не любил меня, хоть и не высказывал этого. Теперь-то я угомонилась, отлегло от сердца, а прежде, когда помоложе была, обидно было, – обидно, ах, как обидно, голубчик! Раз – это еще в деревне было – застала я его в саду с одною дамой, и ушла я... ушла, куда глаза мои глядят, и не знаю, как очутилась на паперти, упала на колени: «Царица, говорю, небесная!» А на дворе ночь, месяц светит...

Она утомилась, стала задыхаться; потом, отдохнувши немного, взяла брата за руку и продолжала слабым, беззвучным голосом:

– Какой ты, Алеша, добрый... Какой ты умный... Какой из тебя хороший человек вышел!

В полночь Лаптев простился с нею и, уходя, взял с собой зонтик, забытый Юлией Сергеевной. Несмотря на позднее время, в столовой прислуга, мужская и женская, пила чай. Какой беспорядок! Дети не спали и находились тут же в столовой. Говорили тихо, вполголоса, и не замечали, что лампа хмурится и скоро погаснет. Все эти большие и маленькие люди были обеспокоены целым рядом неблагоприятных примет, и настроение было угнетенное: разбилась в передней зеркало, самовар гудел каждый день и, как нарочно, даже теперь гудел, рассказывали, что из ботинки Нины Федоровны, когда она одевалась, выскочила мышь.

И страшное значение всех этих примет было уже известно детям; старшая девочка, Саша, худенькая брюнетка, сидела за столом неподвижно, и лицо у нее было испуганное, скорбное, а младшая, Лида, семи лет, полная блондинка, стояла возле сестры и смотрела на огонь исподлобья.

Лаптев спустился к себе в нижний этаж, в комнаты с низкими потолками, где постоянно пахло геранью и было душно. В гостиной у него сидел Панауров, муж Нины Федоровны, и читал газету. Лаптев кивнул ему головой и сел против. Оба сидели и молчали. Случалось, что так молча они проводили целые вечера, и это молчание не стесняло их.

Пришли сверху девочки прощаться. Панауров молча, не спеша, несколько раз перекрестил обеих и дал им поцеловать свою руку, они сделали реверанс, затем подошли к Лаптеву, который тоже должен был крестить их и давать им целовать свою руку. Эта церемония с поцелуями и реверансами повторялась каждый вечер.

Когда девочки вышли, Панауров отложил в сторону газету и сказал:

– Скучно в нашем богоспасаемом городе! Признаюсь, дорогой мой, – добавил он со вздохом, – я очень рад, что вы наконец нашли себе развлечение.

– Вы о чем это? – спросил Лаптев.

– Давеча я видел, как вы выходили из дома доктора Белавина. Надеюсь, вы ходили туда не ради папаша.

– Конечно, – сказал Лаптев и покраснел.

– Ну, конечно. А, кстати сказать, другого такого одра, как этот папаша, не сыскать днем с огнем. Вы не можете себе представить, что это за нечистоплотная, бездарная и неуклюжая скотина! У вас там, в столице, до сих пор еще интересуются провинцией только с лирической стороны, так сказать, со стороны пейзажа и Антона Горемыки, но, клянусь вам, мой друг, никакой лирики нет, а есть только дикость, подлость, мерзость – и больше ничего. Возьмите вы здешних жрецов науки, здешнюю, так сказать, интеллигенцию. Можете ли себе представить, здесь в городе 28 докторов, все они нажили себе состояния и живут в собственных домах, а население между тем по-прежнему находится в самом беспомощном положении. Вот понадобилось сделать Нине операцию, в сущности пустую, а ведь для этого пришлось выписывать хирурга из Москвы – здесь ни один не взялся. Вы не можете себе представить. Ничего они не знают, не понимают, ничем не интересуются. Спросите-ка их, например, что такое рак? Что? Отчего он происходит?

И Панауров стал объяснять, что такое рак. Он был специалистом по всем наукам и объяснял научно всё, о чем бы ни зашла речь. Но объяснял он всё как-то по-своему. У него была своя собственная теория кровообращения, своя химия, своя астрономия. Говорил он медленно, мягко, убедительно и слова «вы не можете себе представить» произносил умоляющим голосом, шурил глаза, томно вздыхал и улыбался милостиво, как король, и видно было, что он очень доволен собой и совсем не думает о том, что ему уже 50 лет.

– Мне что-то есть захотелось, – сказал Лаптев. – Я с удовольствием поел бы чего-нибудь соленого.

– Ну, что ж? Это можно сейчас устроить.

Немного погодя Лаптев и его зять сидели наверху в столовой и ужинали. Лаптев выпил рюмку водки и потом стал пить вино, Панауров же ничего не пил. Он никогда не пил и не играл в карты и, несмотря на это, все-таки прожил свое

и женино состояние и наделал много долгов. Чтобы прожить так много в такое короткое время, нужно иметь не страсти, а что-то другое, какой-то особый талант. Панауров любил вкусно поесть, любил хорошую сервировку, музыку за обедом, спичи, поклоны лакеев, которым небрежно бросал на чай по десяти и даже по двадцати пяти рублей; он участвовал всегда во всех подписках и лотереях, посылал знакомым именинницам букеты, покупал чашки, подстаканники, запонки, галстуки, трости, духи, мундштуки, трубки, собачек, попугаев, японские вещи, древности; ночные сорочки у него были шелковые, кровать из черного дерева с перламутром, халат настоящий бухарский и т. п., и на всё это ежедневно уходило, как сам он выражался, «прорва» денег.

За ужином он всё вздыхал и покачивал головой.

– Да, всё на этом свете имеет конец, – тихо говорил он, шуря свои темные глаза. – Вы влюбитесь и будете страдать, разлюбите, будут вам изменять, потому что нет женщины, которая бы не изменяла, вы будете страдать, приходите в отчаяние и сами будете изменять. Но настанет время, когда всё это станет уже воспоминанием и вы будете холодно рассуждать и считать это совершенными пустяками...

А Лаптев, усталый, слегка пьяный, смотрел на его красивую голову, на черную, подстриженную бородку и, казалось, понимал, почему это женщины так любят этого избалованного, самоуверенного и физически обаятельного человека.

После ужина Панауров не остался дома, а пошел к себе на другую квартиру. Лаптев вышел проводить его. Во всем городе только один Панауров носил цилиндр, и около серых заборов, жалких трехконных домиков и кустов крапивы его изящная, щегольская фигура, его цилиндр и оранжевые перчатки производили всякий раз и странное, и грустное впечатление.

Простившись с ним, Лаптев возвращался к себе не спеша. Луна светила ярко, можно было разглядеть на земле каждую соломинку, и Лаптеву казалось, будто лунный свет ласкает его непокрытую голову, точно кто пухом проводит по волосам.

– Я люблю! – произнес он вслух, и ему захотелось вдруг бежать, догнать Панаурова, обнять его, простить, подарить ему много денег, и потом бежать куда-нибудь в поле, в рощу, и всё бежать без оглядки.

Дома он увидел на стуле зонтик, забытый Юлией Сергеевной, схватил его и жадно поцеловал. Зонтик был шелковый, уже не новый, перехваченный старую резинкой; ручка была из простой, белой кости, дешевая. Лаптев раскрыл его над собой, и ему казалось, что около него даже пахнет счастьем.

Он сел поудобнее и, не выпуская из рук зонтика, стал писать в Москву, к одному из своих друзей:

«Милый, дорогой Костя, вот вам новость: я опять люблю! Говорю *опять* потому, что лет шесть назад я был влюблен в одну московскую актрису, с которой мне не удалось даже познакомиться, и в последние полтора года жил с известной вам „особой“ – женщиной немолодой и некрасивой. Ах, голубчик, как вообще мне не везло в любви! Я никогда не имел успеха у женщин, а если говорю *опять*, то потому только, что как-то грустно и обидно сознаваться перед самим собой, что молодость моя прошла вовсе без любви и что настоящим образом я люблю впервые только теперь, в 34 года. Пусть будет *опять* люблю.

Если бы вы знали, что это за девушка! Красавицей ее назвать нельзя – у нее

широкое лицо, она очень худа, но зато какое чудесное выражение доброты, как улыбается! Голос ее, когда она говорит, поет и звенит. Она со мной никогда не вступает в разговор, я не знаю ее, но когда я бываю возле, то чувствую в ней редкое, необыкновенное существо, проникнутое умом и высокими стремлениями. Она религиозна, и вы не можете себе представить, до какой степени это трогает меня и возвышает ее в моих глазах. По этому пункту я готов спорить с вами без конца. Вы правы, пусть будет по-вашему, но всё же я люблю, когда она в церкви молится. Она провинциалка, но она училась в Москве, любит нашу Москву, одевается по-московски, и за это я люблю ее, люблю, люблю... Я вижу, как вы хмуритесь и встаете, чтобы прочесть мне длинную лекцию о том, что такое любовь и кого можно любить, а кого нельзя, и пр., и пр. Но, милый Костя, пока я не любил, я сам тоже отлично знал, что такое любовь.

Моя сестра благодарит вас за поклон. Она часто вспоминает, как когда-то возила Костю Кочевого отдавать в приготовительный класс, и до сих пор еще называет вас *бедный*, так как у нее сохранилось воспоминание о вас как о сиротемальчике. Итак, бедный сирота, я люблю. Пока это секрет, ничего не говорите *там* известной вам „особе“. Это, я думаю, само собой уладится, или, как говорит лакей у Толстого, *образуется...*»

Кончив письмо, Лаптев лег в постель. От усталости сами закрывались глаза, но почему-то не спалось; казалось, что мешает уличный шум. Стадо прогнали мимо и играли на рожке, потом вскоре зазвонили к ранней обедне. То телега проедет со скрипом, то раздастся голос какой-нибудь бабы, идущей на рынок. И воробьи чирикали всё время.

## II

Утро было веселое, праздничное. Часов в десять Нину Федоровну, одетую в коричневое платье, причесанную, вывели под руки в гостиную, и здесь она прошла немного и постояла у открытого окна, и улыбка у нее была широкая, наивная, и при взгляде на нее вспоминался один местный художник, пьяный человек, который называл ее лицо ликом и хотел писать с нее русскую масленицу. И у всех – у детей, у прислуги и даже у брата Алексея Федорыча, и у нее самой – явилась вдруг уверенность, что она непременно выздоровеет. Девочки с визгливым смехом гонялись за дядей, ловили его, и в доме стало шумно.

Приходили чужие справиться насчет ее здоровья, приносили просфоры, говорили, что за нее сегодня почти во всех церквях служили молебны. Она в своем городе была благотворительницей, ее любили. Благотворила она с необыкновенною легкостью, так же, как брат Алексей, который раздавал деньги очень легко, не соображая, нужно дать или нет. Нина Федоровна платила за бедных учеников, раздавала старухам чай, сахар, варенье, наряжала небогатых невест, и если ей в руки попадала газета, то она прежде всего искала, нет ли какого-нибудь воззвания или заметки о чьем-нибудь бедственном положении.

Теперь у нее в руках была пачка записок, по которым разные бедняки, ее просители, забирали товар в бакалейной лавке и которые накануне прислал ей купец с просьбой уплатить 82 рубля.

– Ишь ты, сколько набрали, бессовестные! – говорила она, едва разбирая на записках свой некрасивый почерк. – Шутка ли? Восемьдесят два! Возьму вот и не отдам.

– Я сегодня заплачу, – сказал Лаптев.

– Зачем это, зачем? – встревожилась Нина Федоровна. – Довольно и того, что я каждый месяц по 250 получаю от тебя и брата. Спаси вас господи, – добавила она тихо, чтобы не слышала прислуга.

– Ну, а я в месяц две тысячи пятьсот проживаю, – сказал он. – Я тебе еще раз повторяю, милая: ты имеешь такое же право тратить, как я и Федор. Пойми это раз навсегда. Нас у отца трое, и из каждых трех копеек одна принадлежит тебе.

Но Нина Федоровна не понимала, и выражение у нее было такое, как будто она мысленно решала какую-то очень трудную задачу. И эта непонятливость в денежных делах всякий раз беспокоила и смущала Лаптева. Он подозревал, кроме того, что у нее лично есть долги, о которых она стесняется сказать ему и которые заставляют ее страдать.

Послышались шаги и тяжелое дыхание: это вверх по лестнице поднимался доктор, по обыкновению растрепанный и нечесаный.

– Ру-ру-ру, – напевал он. – Ру-ру.

Чтобы не встречаться с ним, Лаптев вышел в столовую, потом спустился к себе вниз. Для него было ясно, что сойтись с доктором покороче и бывать в его доме запросто – дело невозможное: и встречаться с этим «одром», как называл его Панауров, было неприятно. И оттого он так редко виделся с Юлией Сергеевной. Он сообразил теперь, что отца нет дома, что если понесет теперь Юлии Сергеевне ее зонтик, то наверное он застанет дома ее одну, и сердце у него сжалось от радости. Скорей, скорей!

Он взял зонтик и, сильно волнуясь, полетел на крыльях любви. На улице было жарко. У доктора, в громадном дворе, поросшем бурьяном и крапивой, десятка два мальчиков играли в мяч. Всё это были дети жильцов, мастеровых, живших в трех старых, неприглядных флигелях, которые доктор каждый год собирался ремонтировать и всё откладывал. Раздавались звонкие, здоровые голоса. Далеко в стороне, около своего крыльца, стояла Юлия Сергеевна, заложив руки назад, и смотрела на игру.

– Здравствуйте! – окликнул Лаптев.

Она оглянулась. Обыкновенно он видел ее равнодушною, холодною или, как вчера, усталою, теперь же выражение у нее было живое и резвое, как у мальчиков, которые играли в мяч.

– Посмотрите, в Москве никогда не играют так весело. – говорила она, идя к нему навстречу. – Впрочем, ведь там нет таких больших дворов, бегать там негде. А папа только что пошел к вам, – добавила она, оглядываясь на детей.

– Я знаю, но я не к нему, а к вам, – сказал Лаптев, любуясь ее молодостью, которой не замечал раньше и которую как будто лишь сегодня открыл в ней; ему казалось, что ее тонкую белую шею с золотой цепочкой он видел теперь только в первый раз. – Я к вам... – повторил он. – Сестра вот прислала зонтик, вы вчера забыли.

Она протянула руку, чтобы взять зонтик, но он прижал его к груди и проговорил страстно, неудержимо, отдаваясь опять сладкому восторгу, какой он испытал вчера ночью, сидя под зонтиком:

– Прошу вас, подарите мне его. Я сохранию на память о вас... о нашем знакомстве. Он такой чудесный!

– Возьмите, – сказала она и покраснела. – Но чудесного ничего в нем нет.